

Annotation

- [Иванов Дмитрий Львович](#)
 - [I.](#)
 - [II.](#)
 - [III.](#)
 - [IV.](#)
 - [V.](#)
 - [VI.](#)
 - [VII.](#)
 - [VIII.](#)
 - [IX.](#)
 - [X.](#)
-

Иванов Дмитрий Львович

Из воспоминаний туркестанца

ИВАНОВ Д. Л.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ТУРКЕСТАНЦА

В помещенных в "Историческом Вестнике" в прошлом 1895 году "Воспоминаниях В. А. Полторацкого" автор их, между прочим, отводит немало страниц описанию его службы в Туркестане, где он был участником военных событий 1870 года.

Как старый туркестанец, отбивший в войсках всю "Бухарскую кампанию" 1867, 1868 и 1870 годов, я с понятным интересом взялся за те книжки "Исторического Вестника", в которых описывались хорошо знакомые мне места, близко известные личности, пережитые события того далекого былого... К сожалению, в записках г. Полторацкого, на мой взгляд, очень многое изложено неверно, неясно или спутано, многие личности (теперь уже наполовину покойники) очерчены односторонне, кое-что преувеличено, -- поэтому и общее впечатление от его "Воспоминаний" получается неправильное, могущее вести к серьезным недоразумениям по самым существенным особенностям нашего Туркестана того времени. Это побуждает меня взяться за перо, чтобы рассказать ту же боевую историю, но с другой точки зрения, осветить далекое прошлое простым взглядом простого солдата, пережившего это прошлое не ради блестящей карьеры, а по неизбежным условиям общей тогдашней службы туркестанских войск.

В своем рассказе я не хотел бы касаться покойного автора "Воспоминаний" уже по одному тому, что лично г. Полторацкого я не знал вовсе и с трудом силюсь теперь припомнить его наружность, боясь спутать с кем-нибудь другим из незнакомых. Поэтому, если мне и придется иногда говорить о нем, то только по необходимости сопоставить изложенное им с тем, что хорошо известно мне. С другой стороны я не стану во всей полноте рассказывать весь поход, а только коснусь тех эпизодов, которые восстанавливают истинный характер тогдашних событий {Дело под Китабом описано мною в очерках, помещавшихся в "Военном Сборнике" 70-х годов, под названием "Туркестанское житье", в главе "Штурм". В отдельном издании они вышли под заглавием "Солдатское житье -- очерки на туркестанской жизни", 1875 года.}.

I.

Прежде всего я должен сделать одну общую поправку, крайне важную. В. А. Полторацкий, делая характеристику туркестанских войск по поводу военных действий под крепостью Китабом (1870 года), впал в крупную ошибку: он говорит, что в то время туркестанцы были вооружены "усовершенствованным ныне скорострельным оружием" (стр. 422, книга II), а в другом месте (стр. 425) прямо говорит, что его стрелки были под Китабом с "берданками". На основании этого он делает вывод, что, не смотря на подавляющую численность неприятеля, победы туркестанских войск "дешево и легко доставались русскому оружию и вызвали у нас непомерную самоуверенность и презрение к неприятелю".

Такой вывод был бы правдоподобен, если бы в самом деле тогда туркестанские войска были вооружены скорострельным и дальнобойным оружием, если бы артиллерия, которой под Китабом командовал Михайловский, имела орудия, заряжающиеся с казенной части, а стрелки, которых водил на штурм сам майор Полторацкий, имели бы в руках берданки! Все это было, но было не в Туркестане, а в Петербурге, в гвардии, -- в боевом же Туркестане об этой роскоши тогда и не мечтали...

В те времена в туркестанской глуши мы воевали попросту. Не говоря уже о начале 60-х годов, но даже в обновленный кауфманский период вооружение войск было весьма немудрое. Всю Бухарскую кампанию 1868 года с отрядами ходили еще те блаженной памяти светлые бронзовые *гладкоствольные* тяжелые пушки, на светло-зеленых деревянных неуклюжих лафетах, которые назывались тогда "батарейной батареей", которые стреляли круглым сплошным ядром, бросавшимся при наибольшем угле возвышения не далее 1 3/4 версты, стреляли при помощи запальной трубки с чашечкой, воспламеняемой пеньковым "пальником" (фитилем).

В деле под Каратюбе (1868 года) наши две сотни казаков со смелым кавказцем, полковником Пистолькорсом, заехали далеко вперед, и на них насаля многотысячная шахрсисябская конница. На

выручку генерал Абрамов послал первую подошедшую роту, которая в каре вместе с казаками повела трудное, медленное отступление по открытому полю. Абрамов с бугра видел, как ничтожно каре (250 человек всех), и как смело ведет наступление неприятель, но весь наш отряд был еще версты за две сзади, и около Абрамова находилась только полурота в прикрытии батарейной батареи.

-- Что, достанет? -- лаконически спросил он командира.

-- Около тысячи сажен едва ли, -- ответил тот: -- впрочем попробуем...

Грянула батарейная. Ядро угаляло, далеко не долетевши до нашего каре.

-- Если прикажете, я дам наибольший, -- напрашивался командир.

-- Да, да, -- нервно ответил генерал, очень беспокоившийся за отступавших.

Еще выше задрала горло пушка и снова грянула. Ядро и теперь не дошло и лишь с рикошота легло близ каре сзади. Абрамов обругался.

-- Так вы своих перебьете: перестаньте стрелять из этих дурацких пугаек!..

Он послал в отряд, чтобы торопить войска на выручку. Выручка (две роты 5-го батальона) подоспела, когда у отступавших уже не хватало патронов для отстреливания.

Вот каковы были батарейные...

Во время знаменитой восьмидневной защиты самаркандской цитадели (июнь, 1868 года) у нас на всю крепость были только две такие светлые пушки: одна стояла в одних воротах, другая в других. В них заключалась артиллерийская оборона крепости, если не считать 2-х мортир, из которых больше для грома стреляли время от времени в город на удачу. На барбетах установили *четыре бухарских пушки*, взятые нами 1-го мая. Одну из них я помню отлично: это была широкогорлая гаубица, стоявшая на барбете правее Бухарских ворот. К ней не было ядер по калибру, а были поменьше, поэтому ее заряжали с хитростью: насыплют побольше пороху, прибьют покрепче самодельным пыжом, обернуть ядро в тряпку, загонят да и палят. Стреляли без прицела -- просто в город, куда-нибудь да попадет... Нестроевым и артиллеристам, ставшим в ряды защитников, выдали ружья, какие нашлись в запасе: это были севастопольские *семилинейные* ружья.

Таким-то "усовершенствованным оружием" мы владели. Лучшими орудиями того времени были "нарезные", заряжающиеся с дула особыми снарядами, имевшими выступы для хода по нарезам. Самыми же удобными для туркестанской войны, по их подвижности, считались облегченные орудия конной казачьей батареи, но в действующем отряде 1868 г. таких пушек был только один дивизион, которым тогда и командовал удалой Топорнин.

Пехота и кавалерия была вооружена *шести-линейной пистонной винтовкой* {Эта самая винтовка была переделана в скорострелку "крынку" для армии, по туркестанцы крынки не знали.}, которая заряжалась по-старинному "скуси патрон"; из бумажной гильзы, у которой зубами отрывали завернутый хвост, порох осторожно высыпался в ствол; потом пуля с чашечкой аккуратно вставлялась в дуло; вынимался шомпол (на нем была ужасно неудобная деревянная втулка, чтобы не порвать ствол при зарядании), и им пуля загонялась до отказа; шомпол втыкался на место; затем вынимался из особой сумочки большой пистон с растопыренными краями и надевался на капсюль. Только тогда ружье было готово.

Заряжать было долго, хлопотно, неудобно, на ходу в особенности, в цепи лежать еще хуже, так как требовалось поднимать дуло кверху, иначе порох не мог спуститься в казенник. После нескольких спешных выстрелов сплошь и рядом отрывался венчик от пули и оставался в стволе; следующая пуля уже доходила только до половины ствола, упираясь в застрявший венчик, и всего чаще тоже срывалась, так что ружье для стрельбы уже не годилось. Нужно было или насильно заколачивать шомполем венчики вниз, или искать другое ружье у раненого, или просто ждать молча случая... За 20-м выстрелом нагар делался так велик, что пуля не лезла, и требовалось протирать ствол -- это было еще хлопотливее... Дальность боя винтовок для линейных рот была 800 шагов и только для стрелковых 1.200: выше и прицелов не было! Хороший выстрел возможен был на 500-600 шагов. Вот какое "усовершенствованное скорострельное" оружие было в руках туркестанцев. А под Китабом, о котором рассказывает г-н Полторацкий, *берданка была одна*: ее привез из Петербурга, как диво, для себя лично Н. Н. Раевский и взял с собою на войну. Из нее несколько выстрелов сделал Козловский, сидя с полувзводом в передовой цепи и удивляя стрелков быстротой зарядания новой винтовки.

Под тем же Китабом для левой колонны Соковнина преимуществ перед неприятелем в дальнотойности ружей для пехоты не было, так как наша батарея была заложена всего в 78 саженьях от крепости, и стрельба велась на расстоянии от 200 до 300 шагов, -- вполне добрый выстрел из неприятельских ружей.

Но чтобы оценить значение нашей борьбы в Средней Азии, характер наших войск и взгляды туркестанских военачальников, нужно пристально взглядеться не только в наше тогдашнее вооружение, а вполне беспристрастно вдуматься и во все другие подробности положения войск на далекой окраине. Туркестанские войска положили великие усилия на то, чтобы при ничтожном числе и средствах не только идти вперед и побеждать, но и охранять на громадном пространстве завоеванное, почти не имея сзади себя никакой опоры. Самоуверенность выработалась в туркестанцах не потому, что победы были "легки и дешевы", а потому прежде всего, что, только веря в свою несокрушимость, эти войска, заброшенные вглубь Азии, могли не погибнуть и победить. Если в истории туркестанских войн были и "дешевые" победы, то где же, в каких других войнах их не было? Но рядом с дешевыми были и такие дела, которые достойно очерчены талантливой кистью В. В. Верещагина {Напомню лучшие из его картин: "Окружили, преследуют", "Пусть войдут", "Вошли", "Победили", "Забытый", "Парламентеры". Кстати о самоуверенности: г-н Полторацкий говорит, что при следовании их в Шахрисябскую долину генерал со свитой часто выезжал далеко вперед, и он, сравнивая с Кавказом, удивлялся этому риску, так как их легко могли отрезать. Сколько мне известно, впереди каждого из наших отрядов, шедших к Китабу, были высланы далеко вперед партии наших джигитов, которые рассылали от себя боковые пикеты и таким образом несли передовую разведочную службу при отрядах.}. О некоторых из них невольно упомянул и сам г-н Полторацкий, как, например, о деле под Иканом в 1864 г. ("точ в точь как кавказское дело", говорит он). В этом деле одна сотня казаков с одним едино рогом и 32 снарядами, билась *три дня* в открытом поле, окруженная несколькими тысячами кокандцев при трех орудиях. Сотня оставила на месте 57 убитых, пробилась через неприятеля и в числе 42-х раненых присоединилась к высланному на выручку отряду! Разве это похоже на преимущество скорострельного оружия или на дешевые победы? А оборона Самарканда в июне 1868 г., в котором на трехверстную цитадель имелось менее 800 защитников -- и в

числе их почти половина "слабых" из госпиталя. Эта люди отбивались за дырявыми стенами от многих десятков тысяч в течение восьми дней {Г-н Полторацкий ошибочно считает 11 дней осады и 8 штурмов.}, отбивались камнями, бревнами, *бухарскими* ручными гранатами {Рассказы В. В. Верещагина.}...

Но и кроме этих прославленных битв, беспристрастный исследователь исторических материалов Туркестана отметит немало и других боевых дел. Первый неудавшийся штурм Ташкента осенью 1864 г., взятие Ташкента в 1865 г., штурм Ходжента в 1866 г. и Ура-тюбе (две штурмовые колонны, каждая в 250 человек, потеряли: одна 77, другая 74 человека, т. е. более 30%), взятие Джизака (велись немалые саперные осадные работы), Зарыбулакское дело 1868 г. (в котором Топорнину довелось со своим конным дивизионом выскакать чуть ли не на 50 сажен к регулярной бухарской пехоте и стрелять картечью, чтобы остановить ее атаку) {Картинное описание этого дела давно опубликовано Н. Н. Каразиным в его первых очерках Туркестана.}, и наконец самый штурм Китаба, -- все это дела, которые достались нашим войскам с большими жертвами и требовали от них решимости не на дешевую победу, а на борьбу на жизнь и смерть.

Система войны в Туркестане была, конечно, во многом иная, чем в других местах, но без нее мы никогда бы не были властителями Средней Азии. И что при этой системе выработалась в туркестанских войсках крепкая дисциплина, лучше всего доказал такой образцовый поход, как поход Хивинский в 1873 г. А сколько выставил Туркестан опытных, толковых боевых офицеров до Скобелева включительно? Одни "дешевые и легкие победы", конечно, не дали бы такого военного воспитания людям, которые и за Дунаем, и в Ахал-Теке одинаково показали себя людьми серьезно боевыми...

II.

Не буду много говорить здесь о почтеннейшем Александре Константиновиче Абрамове -- это увело бы меня слишком далеко из рамок настоящей статьи. С другой стороны личность эта настолько недюжинная сама по себе и игравшая в истории завоевания, изучения и реорганизации Туркестана настолько серьезную и видную роль, что очертить ее несколькими словами, как это делает г. Полторацкий, тоже нельзя.

В виде поправки укажу, что в 1865 году Абрамов был не поручик, а штабс-капитан. В генералы он произведен за взятие Самарканда в 1868 году по манифесту, а утвержден в генеральских правах гораздо позже, чуть ли не в 1870 году за Искандеркульскую экспедицию.

Абрамов действительно был необыкновенно счастлив по службе, но это главнейше зависело от его недюжинных способностей и той необыкновенной энергии, которая отличала его от других. Абрамов был способен очень много работать, часто ночи напролет, и работать без заминок, писать без черняков, решительно, умно, изящно, с полным знанием дела и службы, касалось ли то гражданских мероприятий, военных ли соображений. Обладая ясным умом и редкою памятью, Абрамов был еще и смелым боевым офицером, прекрасно изучившим свойства и наших войск, и туземных полчищ. Лично храбрый, всегда в центре боя, на виду у всех, он одним своим присутствием вдохновлял и офицеров, и солдат, умел рисковать в решительную минуту, веря в свой военный талант и счастье. Прибавим к этому, что личные качества Александра Константиновича в сношении со всеми его окружающими искрейннейше располагали к нему всех -- и начальство, и товарищей, и подчиненных. Приветливый, добрый, простой, внимательный к чужому мнению, щедрый, лучший хлебосол, истинный товарищ, бессребреник, не ценивший своих денег и ссужавший ими всех обращающихся к нему, враг скуки и натянутости -- вот его положительные качества в повседневной

жизни. Перед ними всегда естественно ступшеывались отрицательные, тем более, что в общем личность Абрамова прежде всего подкупала полнейшей искренностью.

Судя по достоверным рассказам, каждый из бывших начальников Абрамова чувствовал, что этот человек не только нужен ему, как лучше всех знающий современное положение наше в Средней Азии, и что на него можно твердо положиться, -- но и был обязан ему в той или другой степени военными успехами, какой-нибудь победой в сомнительном сражении {Так, по словам участников, под Ирджаром, генерал Романовский был совершенно смущен громадой неприятельских войск, обложивших наш небольшой отряд, и героем дня считал Абрамова, разыгравшего дело с замечательным спокойствием и мастерством, заставив неприятеля перестраивать линия расположения под нашим артиллерийским огнем.

Совершенно в таком же положении был Абрамов 1-го мая 1868 года перед Самаркандскими высотами. Когда Кауфман, двинув войска на штурм и увидев эти ничтожные кучки людей топущими среди рисовых полей, заколебался и приказал трубить "отбой" Абрамов кинулся к нему.

-- Что вы делаете, ваше превосходительство: вы погубите все дело! -- встревожился он.

-- Я не хочу губить *весь отряд*, -- ответил Кауфман, выразительно подчеркивая слова: -- необходимо выждать и не бросаться с такой стремительностью.

-- Я ручаюсь вам своей головой, что мы победим! -- воскликнул Абрамов. -- Ради Бога, не останавливайте только...

Эта уверенность поборолла сомнения Кауфмана, и через несколько часов на его глазах наши войска, перейдя рисовые болота, заняли Самаркандские высоты.}. Естественно, что во всех реляциях Абрамов аттестовался с лучшей стороны, и, давая награды другим, нельзя было обойти Абрамова. Украшенный массой орденов, и в том числе золотою саблейю и Георгием 4-й ст., он не оставлял возможности других наград иначе, как производство в чины. При этом он счастливейшим образом был произведен по линии, между наградами, кажется, даже два раза. Как бы то ни было "баснословная карьера его" (по выражению г. Полторацкого) обязана исключительно самому Абрамову, его личным качествам, его редкой энергии, -- и никому больше: у него не было ни протекции, ни связей, ни влиятельной родни, ни дружбы с

высокими особами. Он служил при постоянно сменявшихся начальниках: Колпаковский, Циммерман, Черняев, Мантейфель, Романовский, Дандевиль, Головачев, Кауфман -- это в течение 4-5 лет. И все его расхваливают и представляют к наградам. Таких людей и в благоприятной обстановке Туркестана не много наберется.

Еще об Абрамове. Г. Полторацкий записал в свой дневник, будто бы Абрамов "при взрыве нашего порохового погреба *взлетел на воздух и при обратном падении сильно ударился головой о землю*" (413). Этого я ни от кого не слыхал раньше, а все говорили, что при взрыве погреба он был контужен в голову пролетевшим осколком, что и отозвалось на нем на всю жизнь частыми иногда невыносимыми головными болями {Без сомнения, к области таких же сведений нужно отнести и некоторые другие рассказы г. Полторацкого, как, например, то, что ему Абрамов предлагал будто бы на выбор два места: начальника Самаркандского отдела (уезда) в *9,000 рублей личного содержания*, или Каттакурганского в 10.000 рублей. Таких окладов не было: начальники отделов получили личного содержание не более 2 1/2 тыс. рублей, и даже со всеми посторонними суммами на канцелярию и содержание множества джигитов едва ли им отпускалось более 6,000 рублей}.

III.

Перехожу к штурму Китаба.

Прежде всего об одной маленькой военной формальности. Г. Полторацкий приводит будто бы подлинный приказ Абрамова, подписанный генералом и его начальником штаба Троцким. В приказе говорится:

"Начальниками этой (правой) колонны назначаются полковник Михайловский и майор Полторацкий. Начальником левой батареи назначается полковник Соковнин и помощником его подполковник Раевский" (ст. 423). Эта кажущаяся несообразность о назначении для одной колонны двух начальников (полковника артиллерии и майора) легко разъясняется справкой в официальном донесении Абрамова: "Предположив штурмовать с двух сторон, я назначил для этого две колонны -- правую, под начальством полковника Михайловского... левую -- под начальством полковника Соковнина... В колонне полковника Михайловского помощником ему назначен майор Полторацкий; в колонне полковника Соковнина -- помощником ему подполковник Раевский" {См. сборник "Русский Туркестан", т. III, 1872 г. Прибавления. Кстати о справках в донесении Абрамова. Откуда г. Полторацкий взял после Китаба город *Федобей*? У Абрамова упоминается два имени: укрепление Даяк и город Фаран. Трудно даже из обоих вместе сделать Федобей. Подозреваю, однако, что Федобей относится ко второму, именно, неразборчиво написанному названию Фараба.}, Ясно, что автор "Воспоминаний" просто не заметил этой своей ошибки.

О событиях 13-го августа в левой колонне г. Полторацкий пишет: "*Совершенно ясно видели мы (с бугра), как роты, одна за другой, бежали к стене, видели даже, как тащили лестницы, видели бегущих и падающих*" и т. д. (425).

В "подробностях" отбитый штурм изложен у него так. Когда Абрамов приехал на левую батарею и осматривал крепость с банкета, капитан Гребенкин вскочил на тур, сообщил генералу, что видит тропинку, по которой легко подняться на стену, и затем с

разрешения генерала схватил ближайших людей и бросился к стене. Залп неприятеля *вырвал у него из рядов прапорщика Козловского и 20 солдат*, а добежав до стены и вскочив в глубокий ров, Гребенкин не нашел хода ни взад ни вперед и попал под камень. Увидя безвыходность штурмующей части, генерал стал распоряжаться о поддержке ее, был ранен и, пока ему делали перевязку, в суматохе одна за другой *пошли на выручку своих три роты 9-го батальона*, но, за несколько минут потеряв ранеными батальонного и *двух ротных командиров*, в беспорядке ринулись назад к батарее. Напрасно Раевский пытался красноречием увлечь солдат за собою вперед... За бегущими назад солдатами по пятам бросился неприятель, но *два удачных выстрела картечью из наших орудий* охладили пыл врагов.

Насчет лестниц неверно. Мы не только не тащили их к стене, но даже в нашей левой колонне и *не было ни одной лестницы*.

Что касается подробностей дела 13-го августа, то для меня они вспоминаются в нижеследующем порядке.

Генерал приехал на левую батарею не затем, чтобы штурмовать крепость, а чтобы предварительно решения осмотреть лично днем позицию. До него огонь с крепости был не сильный, и впереди батареи по сю сторону большого оврага в цепи находился один полувзвод стрелков с субалтерн-офицером и с прапорщиком Козловским, все же три роты 9-го батальона лежали в траншее и поддерживали редкую стрельбу. Приезд генерала был торжественный. Сопровождаемый большой свитой и полусотней казаков с его георгиевским значком, Абрамов сперва проехал в отдалении параллельно нашим траншеям а затем сразу повернул к их левому флангу, где был небольшой сад, послуживший некоторым прикрытием для лошадей и конвоя. Неприятель еще издали заметил отлично знакомый Абрамовский значок, стал стягивать войска против левой батареи и открыл по генералу спешную и безвредную стрельбу из пушек и фальконетов (крепостных ружей).

Оставив в саду лошадей, Абрамов направился пешком к батарее вдоль всех траншей, в которых укрывались роты 9-го батальона. Генерал шел над траншеей вдоль ее внутренней стороны, т. е. так, что траншеи находились между ним и крепостью. Он шел рядом с встретившим его Соковниным быстрой, твердой, чисто военной походкой, но с неизменно заложенною рукою за спину, шел весь открытый огню крепости. За ним шла многочисленная свита:

Троцкий, Гребенкин, барон Рене, Меллер-Закомельский, Соболев и др.

-- Встать! Смирно... На плечо! -- раздалась команда по траншее, и люди вытянулись по форме, спиной к стреляющей крепости, точно загораживая собою от пуль путь для генерала.

Абрамов на ходу здоровался с ротами, те гремели в ответ бравое "здравия желаем". Вся эта картина дышала особой, чисто военной жизнью: появление боевого генерала перед войсками, взаимные приветствия под сильным огнем отлично настраивали траншеи, вселяли во всех бодрость и уверенность в свои силы.

IV.

И в то же самое время от конвойной рощи, по пути, которым только что приехал Абрамов, во весь дух неслись, низко пригнувшись, два всадника, удалившиеся от батареи к резервному лагерю. Один из них был штатский на великолепном пегом иноходце, другой военный.

Штатский был природный итальянец, некто Адамоли, прибывший в Туркестан в качестве агента от итальянских шелководов для скупки и вывоза среднеазиатской грены шелковичного червя, которою желали освежить итальянские шелководни, сильно страдавшие от разных болезней. Адамоли был очень симпатичный и красивый мужчина, рассказывавший про себя, что он состоял в боевых батальонах Гарибальди, и желавший лично видеть и оценить среднеазиатскую войну, для чего и получил разрешение от Абрамова быть волонтером при его отряде. С неподдельным добродушием Адамоли рассказывал потом, как неприятно подействовала на него встречная канонада, и как, подъехав к роще, он решил никоим образом не расставаться с конем и не продолжать военной экспертизы, навеянной далекими воспоминаниями юношеской боевой жизни.

-- Я никак не думал, что здешние битвы могут быть так серьезно опасны, -- заканчивал он свой наивнейший рассказ о том, с каким увлечением летел на своем резвом иноходце, уходя подальше от сферы шальных выстрелов...

Но, видно, на роду было ему написано погибнуть в Туркестане, несмотря на такое горячее самосохранение. Покидая край, Адамоли на пути со своим дорогим караваном был убит киргизской разбойничьей шайкой.

Что сказать о печальном товарище Адамоли? Это была личность, случайно назначенная в отряд и откровенно сознавшаяся, что атмосфера войны не для нее создана. С наслаждением кающегося грешника он копался в своей душе, излагая картину тупого ужаса, охватившего его при мысли, что он должен сейчас,

сию минуту идти за генералом навстречу всем смертям, всем пулям и ядрам... А когда он замялся, спешившись среди лошадей и оставшись далеко позади генеральской свиты, то увидел Адамоли, поворачивающего иноходца кругом.

-- Вы куда? -- спросил он его по-французски, довольный, что может удобно маскировать смысл разговора от конвойных казаков.

-- Конечно, назад, в лагерь, подальше от этих проклятых выстрелов и черта-дьявола! -- привычно рассыпался итальянец сильными выражениями. -- Я не имею ни малейшего желания умирать в этой отвратительной стране дикарей, -- да поглотит ее сам сатана!.. Здесь убьют, как собаку, да еще голову отрежут, святые угодники!! Прощайте...

-- погодите, и я с вами поеду, -- вдруг решил тот и вскочил на лошадь.

Кони рванулись и, опережая друг друга, понесли вместе с ругающимся по-итальянски и никому ненужным волонтером и несчастного русского, ринувшегося перед лицом этой войны в страшный открытый бой со всеми принципами своей военной службы...

Вероятно, г. Полторацкий имел в виду этот эпизод, делая намеки в описании обеда у Абрамова после штурма Китаба.

V.

Продолжаю рассказ о левой колонне. Местность была такая. Перед крепостью с глинобитной зубчатой типичной азиатской стеной шел глубокий (сажен до 2-х) ров, затем не широкий гласис (саж. 60), с старым на нем кладбищем. Потом большой овраг с кустами и по сую сторону оврага ровная местность с виноградником и редкими яблонями. Среди этих-то виноградников, на краю оврага, и была поставлена в 78 сажен от крепости батарея Соковнина. Несколько сзади ее и влево тянулся сухой арык (канавка) с обрушенной вдоль него глиняной стеною, который и послужил для нас траншеей. Вправо от батареи виноградники скоро кончались, и местность сразу отвесом (сажен в 2) обрывалась вниз: там, перпендикулярно к крепостной стене, шло широкое галечное русло с извивающейся по нем узенькой речушкой. Низина эта упиралась в самую стену, вдоль которой рва уже не было. В эту же речную галечную низину выходил правым концом и овраг, за которым над нею следовало кладбище, тоже обрывавшееся туда отвесно.

Итак: батарея, влево от нее траншея, вправо вниз русло; прямо вперед полоса виноградника, овраг, кладбище, ров, стена; вперед правее -- выход из оврага на русло и открытый ход до стены.

С приездом генерала крепость усилила стрельбу и стала бить батарейную прислугу. Абрамов приказал Соковнину выслать две роты вперед, чтобы занять опушку по ту сторону оврага и открыть ружейный огонь по крепости. Это было в высшей степени целесообразно: стрелки, прекрасно прикрытые оврагом и находясь сажен в 40-50 от крепости, должны были сразу метким огнем осадить крепостную стрельбу.

Ротных вызвали на батарею за приказанием. Командир стрелковой роты был, во-первых, не вояка (с добрым запасом еврейской крови, всю жизнь служивший по канцеляриям), а, во-вторых, принял роту недавно, по протекции, для получения штаб-офицерского чина и людей не знал. На батарею ему пришлось пробежать под резвым огнем крепости, и он, взволнованный, не мог

толком понять приказание Соковнина. Назад до траншеи опять под огнем бежал он сам не свой и бледный, прерывающимся голосом мог только выговорить: мы... идем!..

Соображения простых людей были очень просты: приехал генерал, стрелки всегда впереди, приказано идти -- очевидно, на штурм...

А с батареи несется голос Соковнина:

-- Почему не выходят стрелки? стрелки, выходи!..

Рота поднялась из траншей и двинулась к оврагу; вслед за нею, слева, двинулась 1-я рота. Крепость, видя движение к ней солдат, так вся и вспыхнула. Пули посыпались дождем. Неприятельские батареи помогали с трех сторон ядрами и картечью. Солдаты сперва прибавили шагу, потом побежали по спуску в овраг. Испуганный бедняга ротный бросился бежать с ними, но запутался в винограднике, упал и остался сзади. Когда бегущие перед самым спуском в овраг достигли ценного полузвода, сидевшие люди с Козловским вскочили и крикнули ура... все ринулось вперед, все зажглось, закричало -- сперва стрелки, лотом 1-я рота. Люди спустились в овраг и не останавливаясь врассыпную бежали на штурм дальше. Впереди всех долговязый Козловский. Крепость стояла перед всеми близехонько в ста шагах... Что люди бежали с убеждением действительно штурмовать крепость, в этом нельзя сомневаться ни минуты. Помню отлично, что, перебежав овраг и поднявшись до выхода на гласис, я остановился и вскинул винтовку, чтобы сделать выстрел по гребню крепости. Вдруг слышу сзади тяжелый бег и сердитый крик;

-- Чего стреляешь, коли на штурм пошли!

Это было сказано таким решительным тоном, что я беспрекословно отставил выстрел и, спустив мягко курок, вместе со здоровенным и решительным советчиком бросился дальше, добежал в числе человек шести до самого рва, перед которым мы и распластались на земле в ожидании, что будет дальше. Мы попали в так называемое "мертвое пространство", и все пули уже летели нам через головы, направляясь в людей, бывших дальше от стены {Этот странный фортификационный термин относится к месту около самого укрепления, куда ружейный огонь с бруствера не может попадать, и где люди наиболее обеспечены от смерти. Происхождение этого противоестественного слова объясняется тем, что мертвое пространство не *оживлено огнем*.}. Сбереженные выстрелы чрезвычайно пригодились нам вскоре.

Наша отдельная кучка забрала несколько левее тех, которые бежали за Козловским прямо на кладбище, и вот почему: прямо подъем из оврага был круче, и, солдаты, выбираясь из него к кладбищу, невольно скоплялись тут толпами, а полее подъем был положе и просторнее, поэтому, чтобы не толочься, мы и бросились влево.

Когда на батарее поняли, что мы объявили штурм, генерал крикнул Соковнину:

-- Что они делают -- остановите их!

Соковнин бросился с батареи и в овраг, но как он их остановит?! Передовые люди уже выходят из оврага на гласис крепости, под страшный огонь: назад теперь уже хуже, чем вперед, - - надо идти за судьбою и штурмовать, если так случилось. Он шел и изредка помахивал платком, а когда к нему подбежал субалтерн с остальными людьми полувзвода и спросил: "куда бежать, полковник?" -- он ответил: "а вон, куда и все бегут!"

И Соковнин стал подниматься сам из оврага по крутой тройке прямо на кладбище...

Присутствующие на батарее, знающие приказание генерала "остановить", стали кричать вдогонку бегущим: "Стой! Назад, назад!" Этот крик приняли внизу в овраге те из оставших, чувства которых сходились с чувствами бывшего среди них ротного. И вдоль широкой полосы бегущих к крепости, среди страшной оглушительной пальбы, неслись спутанные крики: впереди -- "ура", сзади -- "стой, назад".

А в то же время на гласисе среди могильных холмиков, около единственной земляной избушки-склепа ("муллушки", по русскому прозванию) роковая пуля ударила Козловского в живот. Он пал на колени и вскрикнул:

-- Братцы! Ранен...

И в тот же момент Другая пуля в глаз сразила навеки нашего любимца Робинзона, а рядом и нескольких бежавших с ним стрелков...

VI.

Все это вместе с дальнейшим будет понятно только лицам, пережившим атмосферу войны. Мирные жители с трудом поймут, как подобная атмосфера может сразу зажечь людей, до того оставшихся спокойными; как вслед за глупым криком и стрельбой поднимается нервная работа на нашей батарее, и около пушек, и среди окружающих генерала; как вихрь пуль и снарядов, треск и гром выстрелов, вид сраженных людей, вид трусливых, вид всего боя электризует неотразимо всех участников поля битвы... Мирные люди могут составить себе о том лишь отдаленное понятие по сравнению с тем, что творится на больших пожарах, когда чувства невольного страха перед стихией и за себя, и за других, смешиваются с отчаянными усилиями победить, спасти...

И вот, как результат этого нового настроения, болезненно-самолюбивый энтузиаст капитан Гребенкин вскакивает на бруствер и, под жестоким огнем рассматривая крепость, горячо убеждает генерала, что путь есть, он его видит: вот сперва в овраг, направо, дальше под обрывом... войти в крепость легко, вот в тот пролом. Говорит ли в нем поспешность человека, стоящего в огне, опьянила ли жажда славы на подмостках (он недаром носит на груди Георгий: смотрите -- он выше всех, один, в огне...), или действительно зажгло его сердце безотчетным, неудержимым влечением туда, вперед, в пыл той опасности (не страха, нет!), куда бросились другие, свои?... Кто угадает? Но этот энтузиазм действует и на генерала, и его заставляет жить с приподнятыми нервами, когда кажется, что видишь и понимаешь яснее, что способен угадать будущее.

-- Дайте мне 50 человек, я войду в крепость и займу вон тот высокий курган, а вы меня тогда поддержите! -- горячо говорит Гребенкин, указывая на ту часть крепости, которая стоит против широкой галечной низины.

Эта горячность вызывает решение Абрамова:

-- Хорошо, идите! Возьмите вот этих людей, -- указывает он на 2-ю роту.

Гребенкин берет с собою человек 60, направляется правее места суматохи и, выйдя из-под прикрытия оврага на открытое русло, бросается к виденной им тропке, добегают до стены и только тогда видит, что он ошибся. А неприятель сваливает на него верх земляной стены и давит людей...

Это все происходит вправо от батареи, внизу, у самой стены. А тем временем прямо, сейчас за оврагом, на кладбище смута, вызванная смертью Козловского, идет своим порядком. Бежавшие за ним люди замялись и прижались за муллушкой. Не имея предводителя, не зная, что делать, куда бежать, поражаемые и ружейным, и артиллерийским огнем в упор (менее чем на 100 шагов), солдаты жались за могилки, прибывавшие бросались в хвост той же муллушки...

Дойди до них Соковнин, махни рукой -- и все забыло бы о смерти, ринувшись вперед ко рву, на стену... Как разрешить теперь вопрос: победили ли бы непременно эти люди, случайно затеявшие штурм? Дело мудреное, но много шансов было и за то, что, хотя и с большими потерями, все-таки мы проникли бы в крепость тогда же. Это чувствовал и Соковнин, начавший подгонять людей, встречавшихся ему в овраге и на подъеме.

Но только что он вышел на открытое место, как сразу зашатался: пуля сверху перебила ему ключицу и проникла в грудь (*ни один ротный не был ранен ни тогда, ни после*)...

Беда с Соковниным сразу перевернула все дело. Несколько офицеров (в числе их был и Раевский) и солдат бросаются к нему и под руки ведут его обратно в овраг (при чем он ранен вторично пулей в ногу); его кладут, расстегивают китель, удерживают кровь, другие усиливают крики:

-- Назад, назад! Носилки! Воды!...

Все столпилось теперь около этого нового центра в овраге. Обессиленный полковник повторяет:

-- Ах, зачем вы это сделали! Зачем это сделали? -- укоряя ли их за то, что вывели его из огня, или за то, что вернулись с ним, бросив бой и крича "назад"...

Тяжело раненый командир в трудную минуту боя хуже влияет на ход событий, чем убитый наповал. Убит -- и все: следующему офицеру остается только крикнуть "за мной, отмстим!" и снова у колонны есть общая душа, есть с кем идти. А раненый -- к нему

бросаются все с сожалением, с помощью, его ведут, несут в укрытое место... а бой забыт, а солдаты без командира, у них на глазах удаляются с поля офицеры, точно говоря: беда, сражаться больше невозможно.

-- Полковника убили! Назад пошел! -- кричит неистово то горло, которое хочет оправдаться и перед собой, и перед всеми за то, что собралось бежать назад...

-- Назад, назад пошел все! -- катилось теперь так же, как только что неслось победное "ура".

Солдаты 1-й и стрелковой рот, раскиданные и у стены, и на кладбище, стали сбегаться к оврагу. Крепость застонала победными криками, и в нескольких местах шахрябцы пытались сделать вылазки, бросившись за бегущими солдатами. Одна из таких вылазок прежде всего кинулась вслед за нами, когда мы поднялись с земли и побежали к оврагу. Неистовые крики сзади заставили меня обернуться. Я остановил товарищей, и мы вспомнили про наши не выстрелянные винтовки: до бухарцев было шагов 30, и самые передовые их храбрецы упали от наших выстрелов, остальные заколебались...

Сбегавшие овраг солдаты разбрасывались по нему, как попало, то кучками, то врассыпную. Никто не знал, что нужно делать...

Генерал, еще не зная о Соковнине и желая поддержать Гребенкина, послал одного из штабных в овраг: пусть стрелковая рота идет направо, на поддержку Гребенкину. Посланный (капитан генерального штаба А. В. Соболев) набрасывается на стрелкового ротного -- возьмите роту и идите!

Тот не знает, где его солдаты.

-- Где ваша рота? Где рота? Возьмите вашу роту! -- кипятится легко вскипающий Соболев, не умея понять, как так ротный командир без роты и не может ее собрать.

-- Как же я ее возьму, господин капитан, когда она не известно где! У меня нет людей! -- совершенно растерялся ротный в виду такого нового испытания: идите в огонь.

Соболеву ужасно мизерна показалась эта фигура с поднятой рукою к козырьку, -- он вышел из себя и брезгливо обругался:

-- Какой вы ротный: вы з...а!! {В последствии это сделалось известно начальству, несчастного ротного вызвали в Ташкент, и Головачев объявил ему: выходите в отставку, я с з...ми не служу.}

До батареи доходят сведения, что Соковнин тяжело ранен, и люди спутались. Абрамов посылает Меллера-Закомельского: пусть

Раевский примет батальон и сам ведет людей. Тот сбегает в овраг к Раевскому и передает приказание.

-- Куда вести? -- спрашивает удивленный Раевский: -- снова туда? разве это возможно?!

Закомельский не знает предыдущих распоряжений, не знает, что генерал продолжает настаивать на поддержке Гребенкина, и на вопрос Раевского отвечает:

-- Я передаю вам приказание генерала, чтобы вы вели сами людей.

-- Но куда же, куда вести?! -- горячится Раевский, размахивая костлявыми руками: -- Опять туда? Но ведь это невозможно! -- восклицает он, подразумевая штурм через кладбище.

-- Куда же еще? -- горячится и Закомельский: -- что вы трусите что ли? -- срывается у него с языка.

-- Я говорю, что это невозможная вещь! -- вспыхнул Раевский. -
- А что я не трушу, вы это сейчас увидите.

Он обнажает свою кавказскую шашку и бросается к ближайшей кучке солдат, в которой находился и я.

-- Ребята, за мной, ура! -- крикнул Раевский, поднимая шашку и бросаясь снова на кладбище.

Раевского почти не знали солдаты лично. Не знали толком, что он состоит помощником Соковнина. Не знали и о том, что ему приказано принять и вести батальон. Поэтому его обращение всех удивило.

Следя подробно за мелочами этой спутанной драмы, слыша разговор Меллер-Закомельского и понимая ужасное положение Раевского, я крикнул солдатам:

-- Братцы, это наш теперешний батальонный командир -- за ним, ребята! -- Я бросился следом за Раевским, увлекая за собою ближайших стрелков. Мы выбежали снова на гласис, под страшный огонь с крепости.

-- Ваше скоблорodie! С нами никого нету! -- слышим мы сзади крик. Раевский обернулся: перед ним действительно было не больше десятка полтора людей.

-- Людей нету, ваше в -- дие, идти не с кем: без людей невозможно! куда же пойдём -- никого нет! -- повторяли ему голоса.

Заметив это ошибочное движение, с батареи прибежал новый посол, чтобы вернуть Раевского и послать роты не прямо, а вправо.

Мы спустились в овраг, через который в это время с огромными затруднениями протаскивали горные орудия, запутавшиеся в густом

винограднике. Их командир -- высокий и массивный поручик Пистолькорс, которого товарищи все звали "шведом" {Однофамилец кавалерийского полковника, всегда сердившийся, когда его спрашивали: "вы, конечно, родственник полковника?"}, энергично распоряжался людьми и живо на руках выдвинул своих малюток на кладбище, чтобы действовать против вылазки.

-- Картечь! -- сильным голосом скомандовал он, стоя выше всех нас над оврагом, под жестоким огнем с расстояния сотни с небольшим шагов.

Прислуга стала падать, заменяя друг друга. Один, не успевши догнать заряда, упал смертельно раненый, не выпуская банника из рук.

-- Возьми у него банник! -- крикнул Пистолькорс следующему.

-- Нет... я... сам... сделал сидя последнее усилие бедняга и упал мертвым под дуло орудия.

Ваше благородие, так всех перебьют! -- не выдержал кто-то из прислуги такой силы и близости стрельбы.

-- Ну, так что ж? И меня убьют вместе с вами, -- неотразимо ответил командир, возвышавшийся головой над всеми смущенными людьми, и открыл стрельбу.

Эффект был поразительный. Пистолькорс сделал не два, а до *шести* выстрелов, совершенно разгромив толпы, выскочившие с такой поспешностью из крепости.

Взвод горных орудий двинулся из траншей в овраг по собственной инициативе Пистолькорса:

-- Я пошел потому, что по диспозиции обязан был идти вслед за штурмующей колонной. Вы штурмовали, я за вами, -- и я, если не ошибаюсь, пришел во время? -- объяснял он потом, стараясь выражаться лаконично и красиво.

Эпизод этот нужно считать одним из самых блестящих в течение 13-го августа.

Он же помог, наконец, собрать вместе и раскидавшихся по оврагу людей. Чтобы собрать стрелков, я воспользовался простой приметой: у них был длинный прицел на винтовках. Не зачем было засматривать каждому в лицо, а, подойдя сзади к засевшим по кустам и вдоль гребня оврага, я прямо брал стрелка с длинным прицелом за плечо и приказывал ему идти в сборный пункт.

Стрелковую и 2-ю роту двинули наконец вправо, и мы стали уже спускаться из оврага, когда пришло приказание возвратит всех: ничтожный остаток из команды Гребенкина (9 из 60) уже вернулся,

посланные казаки за несколькими ранеными, упавшими на открытом месте, -- тоже.

VII.

Когда именно ранен был Абрамов, -- я не помню. Знаю, что уже после того, как Гребенкин двинулся к крепости. Абрамов, чтобы не стеснять никого на батарее и не тянуться через бруствер, взял с собою Троцкого и вышел наружу. Ему пришла какая-то мысль, и он хотел проверить ее.

-- Знаете, что я думаю, Виталий Николаевич, -- сказал он, притягивая за руку к себе ближе Троцкого... в этот момент пуля ударила его в живот. Он вскрикнул, все бросились к нему, увели на батарею, требовали доктора, уговаривали генерала сделать перевязку, он не соглашался, говоря, что все пустяки.

Как бы то ни было, рана Абрамова никакой путаницы не создала, ибо путаница началась еще далеко до этого. Но несомненно, что рана его повлияла на дальнейшие решения, хотя на половину дело было решено раньше -- смертью Козловского, выбытием Соковнина, неспособностью ротных и новизною Раевского.

Когда был ранен Н. Н. Раевский, я тоже не знаю, и узнал об этом гораздо позже, зайдя на батарею по отъезде генерала. Там мне рассказали офицеры, что Н. Н., не смотря на настояния их и доктора, решительно отказался от перевязки, пока не перевяжут всех других раненых. Ране своей он не придавал никакого значения, и назавтра утром 14 августа он отлично, как истый гусар, ехал верхом перед войсками, когда мы вошли в крепость.

С отъездом генерала с нашей батареей картина совершенно изменилась: стрельба ослабела, траншеи наполнились ранеными и их стонами, а уцелевшие примолкли и приунылись. Назвать это "совершенным упадком духа" было бы неверно. Это был временный упадок сил, упадок нервов, как реакция излишнему их напряжению -- не больше. Это общее состояние я испытал вместе с другими. Возвратясь в траншею, я почувствовал такую внезапно охватившую меня усталость, что тотчас же свалился на землю и, чтобы меня ничто не беспокоило, закрылся с головой тяжелой шинелью, хотя

под ней и было страшно жарко и душно. Бессонная ночь накануне при постройке батареи, целый день без пищи и главное без питья, потом беготня, прыжки по виноградникам, суэта среди общей путаницы и сильная работа нервов под впечатлением боя с его обиднейшей путаницей, наших тяжелых потерь и т. п., -- все это так измучило меня, что мне хотелось плакать. Тяжесть в голове, спазмы в высохшем горле и острая резь в груди составляли прямо боль, физическое страдание, угнетавшие всего человека, и без того истерзанного нравственно. Вскоре по траншее стали изредка раздаваться служебные призывы: "Пошел за водой для раненых! Вставай, вставай, бери котелки за водою!". Но я лежал под своей шинелью и не отзывался: я чувствовал себя, если и не раненым, то больным, и все время уверял себя в этом.

Вдруг, слышу, ко мне подошел кто-то, приподнял немного шинель и, считая меня раненым, протянул мне полный котелок воды.

-- На, напейся водицы, -- сказал он просто и почти не глядя на меня.

Я схватил котелок и, как ребенок, припал к мутной теплой воде, казавшейся мне лучшим желанным напитком. Едва пересилив себя, я отдал полкотелка воды назад солдату, спешно сказал "спасибо" и бросился снова под шинель. Я спешил спрятаться, потому что мне было стыдно, совестно за эту воду, выпитую мною мошеннически, воду принесенную более чем из-за полверсты исключительно для раненых... Но та же вода показала мне, что все страдание сводилось только к временному физическому упадку сил: через несколько минут я уже чувствовал себя вполне бодрым и, набрав у соседей по несколько котелков в каждую руку, отправился с другими за водой, чтобы потом щедро раздавать раненым, как долг, лежавший на моей совести. Хотя идти за водою можно было и по самым траншеям, вполне безопасно, если посильнее пригнуться, но о таком способе ходьбы теперь уже никто не думал, а все выходили из траншей на поле и шли открытым местом. Стрельба теперь из крепости сделалась столь редкой, что нам по сравнению с только что пережитым она была почти незаметной, и люди относились к пролетающим пулям совершенно пассивно.

Пришедши к воде, мы прежде всего опустили на колени и стали пить вприпадку не отрываясь. Оказалось, что воду обстреливают неприятельские охотники, и мы сейчас же вступили с ними в перестрелку...

Правда, когда спустились сумерки, по траншеям в нескольких местах слышались разговоры, навеянные неудачным штурмом, разговоры, все сходящиеся к тому, что надо войска больше, столь перебили народу, куда же пойдешь, как же возьмешь без людей и т. п. Опять же командира сразили и Козловского -- с кем пойдешь?

Это настроение отразилось ночью на нескольких душах, но общее зерно было цело и крепко.

-- Что же, по-твоему, уходить отсюда надо? Как странно рассуждают! На то война: велят, и пойдешь -- довольно просто!..

Что чувствовалось всеми, но не высказывалось -- это робость за офицеров, случайный состав которых не давал твердой уверенности людям, что "за ними можно идти куда угодно". Сегодняшний штурм показал им ясно, что таких, за которыми они "свободно" ходили в делах 1868 года, у них теперь нет, а чужих, штабных, они не знали, равно как и Раевского. К сожалению, предчувствия солдат насчет своих наполовину оправдались...

Той же болью, но в сильнейшей степени щемило в темноте сердце старого полковника, прикованного к походной койке за двумя ближайшими деревьями соседнего сада. Перед его воспаленными глазами вставали картины и думы, одна другой обиднее, густо окрашенные в пессимистический тон его болезни и бессонницы.

Должен отметить еще одну подробность, касающуюся 13 августа и непонятную в изложении г. Полторацкого. "С самой минуты отбитого штурма, -- пишет он на стр. 429, -- *вдоль барбетов* (?), *по наружному фасу* (!) толпами скакали всадники" {Барбет, как известно, представляет небольшую площадку, на которой внутри крепостной стены стоят орудия, и скакать толпами там негде; а скакать по наружному фасу отвесной стены значит скакать вне крепости, по сю сторону стены, выйдя из крепости. Этого не могло быть, ибо так скакать, "торжествуя победу", можно было только под верными выстрелами нашей батареи и наших стрелков.}. Это несомненное недоразумение, и я подозреваю, что рассказ идет вот о чем.

В крепостной стене, примерно на середине между нашими левой и правой батареями, был довольно значительный пролом, который хотя и был заложен мешками, но заложен низко в один ряд, так что если за проломом в крепости ехал верховой, то его хорошо было видно от нас, и в особенности с курганов, где были поставлены наши орудия. Там так и следили: как заметят, что за проломом передвигаются бухарцы, так сейчас туда гранату. Когда

начался штурм левой колонны, то в крепости поднялось огромное передвижение войск, главнейше кавалеристов. Это передвижение шло беспрепятственно за сплошными стенами до пролома, а как дойдут до него всадники, то и замнутя. Когда скопится их побольше, они сразу и бросятся вскачь чрез открытое пространство, желая избегнуть бдительной гранаты. Движение таких кавалерийских партий сперва шло в сторону левой батареи, а когда штурм окончился, то ожидая возможности штурма правой нашей колонны, "толпы всадников" проскакивали также слева направо. Но все это внутри крепости, а не "вдоль барбетов по наружному фасу" {Один из эпизодов, относящихся к этому передвижению неприятеля и действию нашей артиллерии, описан мною в главе "Штурм".}.

VIII.

Ночь на 14-е число прошла одинаково тревожно на обеих батареях. И там, и тут готовились к ночному штурму: главный выпадал на правую колонну, второстепенный на нашу. Там готовили лестницы, здесь надеялись найти удобные входы и без них -- ведь как-нибудь спускался же неприятель из крепости, когда днем делал вылазки?

Вечером я заходил на батарею: там все вповалку лежали, или молча, или перебрасываясь пустыми фразами. Все были озабочены не столько личным вопросом, сколько общим успехом предстоящего через несколько часов штурма... К этому прибавилась забота ближайшая -- отправка охотников за убитыми, оставленными на кладбище, и в числе их за Козловским. Раевский был озабочен более всех, что, конечно, всякому казалось вполне понятным...

Кстати о Николае Николаевиче Раевском.

Г. Полторацкий в своих "Воспоминаниях" при всяком случае почему-то старается сказать что-нибудь неприятное по его адресу: называет его самодуром, неспособным, смеется над его храбростью, издевается над раной и т. п. Это несправедливо.

Н. Н. Раевский тип очень интересный и сложный. Прекрасного домашнего воспитания, кандидат математических наук {Сколько помнится, Московского университета.}, гордый потомок исторического деда-драгуна, богатый человек, славянофил-энтузиаст, тяжелый теоретик и пылкий исполнитель идеальных проектов, баловень гусар, превратившийся в боевого пехотинца-туркестанца, -- он соединял в себе самые характерные черты Дон-Кихота в лучшем смысле этого слова. Это был большой чудака, иногда казавшийся маньяком, но чудака самых честных правил, затевавший на свои собственные средства организовать несколько сотен конных стрелков, вооруженных берданками, для успешных действий в Туркестане; чудака, который мечтал, опять таки на одни свои личные средства, ввести в Туркестане правильную культуру хлопка, шелководства, виноделия, -- и на это истратил не один

десяток тысяч рублей, истратил без всякой мысли о барышах, о гешефте, о субсидиях, промессах, процентах и т. п., о чем начинают всегда и прежде всего думать современные "дельцы" и "учредители". Он и по внешности напоминал Дон-Кихота: высокий, худой, с длинной шеей, с своеобразным отпечатком заботливости на лице, с продолжительными, тяжеловесными и скучными рассказами на свои излюбленные темы, доверчивый и легковверный, -- он тотчас же внимательно и сердечно прислушивался ко всякой просьбе, ко всякому рассказу о несправедливости, и тотчас же решался на помощь, отправлялся хлопотать и ходатайствовать, если это требовалось. Всегда обложенный массой газет и журналов (среди которых было больше полдюжины славянских), техническими книгами, брошюрами на разных языках, он искреннейше зарывался в их листы, посвящал во все тайники своих знаний всякого, кто только показывал вид, что интересуется делом. Это был самый неумелый, конечно, но самый заботливый и самый серьезный командир-попечитель, которого легко можно было обмануть, но нельзя было ничем подкупить.

Он гордился своим знаменитым дедом, знал наизусть все его боевые подвиги, хотел быть непременно на него похожим и в то же время искреннейше считал самым полезнейшим для Туркестана мирное, культурное его развитие.

Также мечтательно и добродушно он вел себя и во время первого своего боя под Шахризямсом. Собрался он в отряд во всеоружии: при нем была историческая шашка, о клинке которой он мог повествовать целых два дня, револьвер, богатый кинжал, два ружья -- магазинное и берданка, кавказская бурка, разные мудреные походные сумки, -- и при всем этом камердинер с разными несессерами и принадлежностями до запасного шампанского включительно. Прапорщик Козловский, как истый Робинзон и герой Куперовских романов, первый обрушился на вооружение Раевского, осмотрел его опытным глазом бойца и походного человека и забрал себе кинжал и обе скорострелки (одна погибла вместе с ним на поле битвы) {Козловский участвовал юнкером во всех походах Бухарской кампании и имел солдатского Георгия.}.

Когда был ранен Соковнин, Раевский не отходил от него до тех пор, пока его не назначили командиром. Этого, по-видимому, он никак не ожидал и совершенно не знал, как ему быть среди той замечательной путаницы, которая происходила тогда в овраге, в

особенности лицом к лицу с горячим недоразумением, принесенным ему Меллером-Закомельским.

Он был глубоко потрясен всем окружающим и долго потом рассуждал, слушал, расспрашивал, соображал -- почему и как. Его ужасно огорчало, что наши убитые, и в том числе Козловский, не убраны с поля битвы, и когда ночью организовалась команда охотников для сбора тел, Н. Н. крайне заботливо отнесся к этому делу. Ночью, когда мы готовились к новому штурму, Раевский также искренно хлопотал о порядке, о направлении движения и проч. Подойдя ко рву, он с первыми солдатами, нашедшими спуск, бросился в него и в числе самых первых удальцов влез на барбет {Лезли мы изо рва на амбразуру без лестниц, попросту подсаживая друг друга, по плечам товарищей, так сказать, по живой лестнице.}.

Совершенный новичок в боевых делах, не знающий, как командовать пехотой, незнакомый с людьми, которыми он был назначен управлять, непривычный ориентироваться среди ночной толкотни и неизвестности, вынужденный спорить с Соболевым, желавшим распорядиться, -- Н. Н., не смотря на множество комичных положений, выдержал эту ночь и утро с полным достоинством, все время впереди, по-командирски. И это тем более важно отметить, что на время ночного штурма несколько офицеров отсутствовало и, например, та же стрелковая рота оказалась без фельдфебеля и ротного: первый еще с вечера сказался больным и заведомо остался в траншеях в числе слабых, второй затерялся в темноте и догнал роту уже днем, на спокойном марше колонны. В первой роте также затерялся на время штурма субалтерн. Раевский отнесся к этим печальным фактам строго, но без запальчивости, без шума.

Искренний служитель идеи освобождения славян, Раевский, как известно, кончил жизнь на поле битвы за это освобождение. Это был последний "подвиг" Дон-Кихота, подвиг, который заставляет всякого сердечного человека с почтением склонить голову над его могилой...

IX.

Г. Полторацкий дает длинное описание бывшей после штурма *баранты*, рисуя "забавные" картины мародерства солдат, тащивших из города в лагерь все, что удалось добыть -- халаты, одеяла, посуду, провизию, и добродушно наслаждавшихся потом своим "временным" богатством {Сцены туркестанской баранты весьма талантливо и несравненно жизненнее изображены очень давно в первых очерках Н. Н. Карамзина, если не ошибаюсь, при описании взятия вами города Ургута.}. При этом автор "Воспоминаний" говорит, что ему показался "странным" этот обычай в крае, что на Кавказе будто мародерства вовсе не было, так как оно строжайше преследовалось.

Я нахожу, что описание баранты г. Полторацким сделано крайне односторонне. Необходимо указать два важных обстоятельства, о которых у него совершенно не упоминается.

Первое было категорическое приказание Абрамова начальникам штурмовых колонн никоим образом не допускать солдат до баранты, пока войска не займут крепость окончательно.

О таком приказании я знаю от Раевского. Когда наша колонна 14-го числа вошла в крепость, прошла уже половину крепостной стены и заняла указанное место, ожидая дальнейших приказаний от Абрамова, нам пришлось долго стоять в пустынной части крепости, стоять без всякого дела и без пищи, так как, отправляясь в ночной штурм, мы все оставили в траншеях и с собой взяли только одни патроны. Солдаты, утомленные двумя бессонными ночами и вчерашним боем, вспомнили прежде всего о том, что в нашей кухне нет мяса, и хорошо было бы озаботиться по этой части.

Мне пришлось докладывать об этом Раевскому.

-- Позвольте послать людей на фуражировку, скотины достать, - закончил я свой доклад.

-- Ни под каким видом! -- ужаснулся он: -- генерал Абрамов настаивал на этом и несколько раз подтверждал мне, чтобы мародерства не было. Я дал ему слово...

Это не мародерство, г. подполковник, а фуражировка...

Необходимо было очень подробно разъяснить ему, что люди пойдут только добыть одну скотину или несколько телят для ротной кухни, что это неизбежный обычай всякой войны, и что Абрамов, запрещая баранту, понимал дозволение солдатам таскать всякие вещи, скарб, товары и проч., причем обыкновенно соблазн двух-трех раздобывших заражал понемногу большинство, и роты рассыпались по садам, домам и лавкам; что, напротив, на фуражировку отправляется партия по назначению и под начальством особого старшего унтер-офицера, ответственного за команду. Раевский все-таки не соглашался и все время ссылался на точные приказания Абрамова. Мне пришлось самому лично взяться за эту фуражировку, чтобы успокоить его, и только когда появилось около роты несколько телят, к которым назначили форменного ротного "пастуха", он признал воочию, что это не баранта, а мясо для ротного котла.

Баранта была разрешена уже тогда, когда все войска стали лагерем в цитадели Китаба.

При взятии Самарканда в мае 1868 г. Кауфманом точно также было строжайше запрещено хоть малейшее мародерство, и это было выполнено в точности. Какие-то неясные слухи о нескольких одеялах подняли целый розыск во всех войсках... {Эти сцены подробно описаны в моей книжке: "Под Самаркандом. Рассказ новичка"}. Но когда через месяц после осады Самаркандской цитадели бухарцами Кауфманский отряд был встречен баррикадами и выстрелами, -- он решил наказать город: послал всюду отряды, приказал зажечь базар и окрестности цитадели и разрешил баранту. Войска отправлялись командами, ловили народ и тащили, что попадало под руку, а что не могли -- били, уничтожали. Через три дня был отдан приказ прекратить баранту, и ослушников стали крепко наказывать.

Как раз тогда А. К. Абрамову пришлось иметь дело с укрощением мародеров. При отряде 1868 года была афганская сотня, которая образовалась накануне кампании из людей, бежавших из Афганистана в наши пределы, Кауфман сделал из них летучую кавалерийскую дружину и по занятии Самарканда отдал ее в распоряжение Абрамова. Стали доходить слухи, что в окрестных садах продолжается баранта. Сперва думали на русских, и Кауфман сердился, думая, что начальники частей только покрывают своих людей. Абрамов не верил и спорил, что слухи неверны, ибо был

убежден в войсках. Наконец истина раскрылась: ему донесли, что барантуют афганцы. Он экстренно командировал две сотни уральцев -- забрать этих негодяев и привести к нему. Афганцев накрыли с поличным, обезоружили и пригнали к Абрамову, жившему в садах. Он приказал их всех ввести в сад и вышел к ним один с адъютантом и переводчиком.

Перед ним стояла толпа угрюмых черных лиц с блестящими глазами. Впереди три их начальника в офицерских погонах ("зауряд"-офицеры) глядели исподлобья на А. К., считая себя дважды оскорбленными: во-первых, их остановили на баранте, во-вторых, обезоружили.

-- Как вы осмелились, негодяи, ослушаться моего приказания?!

-- стал их разносить рассерженный Абрамов.

Афганский офицер стал отвечать, возражать.

-- Молчать, мерзавец! -- крикнул генерал. -- Прикажите ему молчать! -- повторил он переводчику.

Афганец не унялся и снова возразил с большой горячностью.

Абрамов быстро подошел к нему и со всего размаху дал собственноручно пощечину. Все гордые зауряд-офицеры пали на колени, а за ними разом вся афганская дружина.

Никто и никогда еще не видал таким сердитым Абрамова, как тогда. Он взволнованный ходил перед коленопреклоненными, бранился и приказывал буквально переводить его слова.

-- В солдаты отдам! -- пригрозил он дрожавшим зауряд-прапорщикам и капитанам.

С этих пор и афганцы бросили всякие попытки к баранте. С такой энергией умел Абрамов сдерживать мародерство, когда это требовалось.

Разрешение баранты в Китабе объясняется политическими обстоятельствами. По убеждениям средне азиатов, чтобы показать строгость победителя, необходимо предать побежденных самой свирепой баранте. В данном случае Китаб и Шаар были "ослушники", "бунтовщики", "изменники" против бухарского эмира. Наша экспедиция должна была не только не дать им возможности распространить междоусобную войну на нашей границе, но и наказать их открытое возмущение, сломить историческую славу их непобедимости, тем более, что крепость мы не оставляли за собой, а передавали бухарским властям {В Бухарскую кампанию шахрисябцы были самыми жестокими нашими врагами. Им принадлежала наибольшая доля участия в осаде Самарканда.}.

Кстати сказать: я не знаю истинного положения дела на Кавказе по части мародерства в те времена, но я знал в Туркестане очень много кавказских офицеров, и среди них хороший процент отличался особенными симпатиями к туркестанской баранте. Полагаю, однако, что дело это ведется не столько странною, сколько прежде всего наклонностями человеческими. Были и в Туркестане люди, с крайним равнодушием проходившие мимо торжища баранты и безучастно смотревшие на изумительные результаты человеческой жадности.

Второе важное обстоятельство, почему-то совершенно опущенное

автором "Воспоминаний", было то, что в баранте самое широкое участие принимали офицеры, как строевые, так и штабные. Участие это выражалось в покупке у солдат набарантованных вещей за бесценок, потому что солдат их второпях не ценил ни во что, даже часто не успевая толком разглядеть добытое. Кроме того, солдат не мог и оставить при себе это добытое, а офицеры имели повозки и могли многое везти с собою. Поэтому солдату оставалось только одно: возможно быстрее сбывать вещи и добывать новые, превращая все в портативные бумажки.

Но еще хуже. Офицеры пользовались своим влиянием, своим начальствованием: командиры частей отбирали у своих солдат вещи получше, давая им за них ничтожнейшие цены по своему усмотрению, в роде "на водку" за добытую дичь на охоте. Некоторые практики сидели "на тракту", перехватывали солдата, пока он еще не добрался до людных мест, и сторговывали вещи за бесценок. Другие, понастойчивее, так прямо отдавали приказание, чтобы солдаты с барантой не смели продавать ничего, пока они не осмотрят принесенных вещей.

Жадность разгоралась у многих до невероятных размеров. Помещения таких любителей превращались в целые склады разных ковров, кусков шелковых материй, оружия в серебре и бирюзе, множества поясов, уздечек, шелковых одеял, халатов, даже женских шелковых рубаш, штанов и т. п.

Любители бегали один к другому и вострили алчные глаза. Энергия кипела ключом. Разговоры сплошь были одного тона.

-- Ну-ка, ну-ка, покажи! Боже мой, какая роскошь! Сколько дал?

-- Рублевку, а это -- три кокана (три двугривенных). Стоит? -- хвастается мастер.

-- Еще бы! да ты в Самарканде сейчас получишь за ковер 25, а за то 10 рублей.

-- Нег, мы ужасно дорого за все платили! -- слышатся сокрушения: -- потому что нас там много, начнут набивать цену...

-- Уступите мне один -- ну, зачем вам столько? -- говорят в другом углу.

-- По 10 рублей, извольте, -- полушутя отвечает обладатель многих экземпляров.

-- Ишь чего захотел: сам, поди, дал двугривенный или полтинник...

-- Четыре рубля?! -- изумляется в соседней палатке знаток дела: -- четыре рубля! Ах, младенец, младенец! Да ведь я купил три таких точно за рубль...

Хозяйственные люди -- те особенно заботливо относились к скотинке и скупали коров. Цена за корову установилась в полтинник. Половина голов (по общему обычаю) шла в роты на довольствие, а половину получше -- такие хозяева оставляли за собою платя за голову 50 коп. Для них это было очень удобно, ибо и те, и другие коровы должны были идти под наблюдением казенных пастухов.

Помню двух ротных командиров, которые вошли в такой азарт по покупке баранты, что между ними разыгралась крупная ссора. Один купил черную корову у солдата из роты другого.

-- Какая хорошая корова? Чья это? -- заинтересовался другой ротный.

Ему доложили, что пригнал корову такой-то рядовой, а купил у него соседний ротный.

-- Как так продал без моего ведома! Вот солдату полтинник, корову я беру себе, а он пусть отнесет полученный полтинник назад, кому продал.

Сосед прогнал солдата с полтинником вон, и вскоре дипломатические сношения перешли на непосредственные личные объяснения.

-- Какое ты имеешь право отбирать мою корову?! (ротные были на армейски-товарищеской ноге и говорили друг другу ты). Я не позволю, я купил у солдата.

-- Он не смел продавать без моего дозволения. Это мое распоряжение...

-- Черта мне в твоём распоряжении!

И пошла перестрелка.

Стали их товарищи унимать:

Господа! да ведь корова-то полтинник! Стыдно. Можно ли из-за полтинника?! Ну, купите себе любую.

-- Пусть он сам купит! Мне дорог принцип... Не отдам коровы...

-- А не отдашь, так мне полтинник мой недорог: сейчас иду в стадо и застрелю корову из револьвера...

Словом, как в Миргороде Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. К сожалению, только не из-за неприличного сопоставления гуся ружью, как в тихом Миргороде, а из алчности, перелившейся через край.. И любителей было немало. Некоторые возвратились из Китаба, увозя с собою не одну-две случайные вещи на память о походе (например, как остаток лагерного бивака), а несколько нагруженных ароб, большие и дорогие коллекции, добытые немалыми стараниями...

Х.

Не могу при воспоминании о взятии Китаба не вспомнить его конца. На другой день приходился батальонный праздник 9-го батальона -- грустный, тяжелый праздник...

Построили роты, отслужили молебен и вдоль рядов тихо обнесли походную койку тяжело раненого полковника Соковнина, которого потом отнесли под широкий шатер праздничного барака офицеров. Все столпились около него, стали поздравлять.

-- Благодарю вас, не с чем меня поздравлять, господа, -- с горечью в голосе тихо отвечал недовольный больной: -- ничего не сделали, штурм проиграли...

Все старались утешить его.

-- Помилуйте, Василий Николаевич, что вы! Дело прошло хорошо: вы сделали свое прекрасно. Полноте... Не волнуйтесь.... Зачем же преувеличивать....

-- Ах, что вы меня, как мальчика, пустяками утешаете! -- вспыхнул неожиданно для всех добродушный Соковнин. -- Разве я ничего не видел, ничего не знаю? Все вижу, все знаю лучше вас... Ах, перестаньте! -- задыхаясь отвечал он... Что до меня -- так неделю-две, и на покой... А мне горько -- не то горько, не то мне надо, чтобы первому войти, а нужно не срамиться. Что мы сделали?! Где эти люди, которые сделали?!...

Больной волновался все сильнее, и утешения только подливали масла в огонь.

-- Ах, что мне "успокойтесь": мне все равно умирать сегодня или завтра... А нехорошо это! Ах, разве так должны себя офицеры вести? Вот вы... Где вы были? Мне ведь известно, что вас не было... А вы?... куда девались? Бросили людей... И вы!... на вас-то я как рассчитывал... Ах, нехорошо, горько, ах, очень нехорошо... Козловского храбреца бросили...

И общий любимец, отец-командир, опасно раненый и слабый, тяжело задыхаясь, на пороге могилы, как судия, говорил прямо в

лицо свои горькие правдивые речи, смотря в упор добрыми проникающими глазами, от которых нельзя было уйти.

Положение становилось тяжелым для всех и опасным для больного.

Кто-то догадался и притянул к нему на глаза таких личностей, которые его не раздражали. Он стал тише...

-- Да, да, вас я видел... Вы... благодарю вас, да... хорошо...

Толпу стали отводить, и к кровати подошел А. К. Абрамов.

Он сел рядом и тихо, долго, задушевно стал говорить с израненным и взволнованным человеком. Он осветил дело с общей стороны, показал значение левой колонны... Все дело было поставлено так, что она должна была жертвовать людьми, в этом ее задача. Отдельным мелочам он не придает никакого значения: они, как всегда на войне, вырастают там и тут, а общее впечатление -- вполне добрая служба... Василий Николаевич смотрит невольным образом односторонне, как больной, как выбывший из строя в пылу сражения... Он, Абрамов, сам испытал эти ощущения раздражения, эту бессильную досаду на то, что не годен в самую нужную минуту... Его люди, солдаты, были бесспорные молодцы, и он может, положив руку на сердце, благодарить свой батальон... Если были действительно слабые офицеры, то были и очень хорошие... И прежде всего он хотел бы отметить самого Соковнина, как неустрашимого командира, достойного всякой похвалы... Ему особенно нравится эта его честность, эта его прямота старого солдата... Но это волнует его, а это нездорово... Когда он поправится, а к тому времени и награды придут... Он предполагает представить Соковнина к золотому оружию...

И под эти убаюкивающие речи душевного человека добрый больной стал затихать, стал молча слушать, побеждаемый искренностью и сердечностью тона собеседника, стал снова верить в людей и даже в возможность своего выздоровления...

Недолго досталось этому прекрасному человеку верить в жизнь: он скончался месяца через два после Китабского сражения...

Заканчивая эти отрывки из моих туркестанских воспоминаний, вызванные встречей с "Воспоминаниями" человека мало и односторонне знакомого с Туркестаном, мне хотелось бы в

заклучение помянуть добрым словом прежде всего простого нашего солдата туркестанца, которому так много обязана история нашей окраины, а вместе с солдатом помянуть и многих из тех офицеров, которые правильно умели повести этого солдата, воспользоваться его добрыми качествами и искренно оценить его заслуги и его душу...

Д. Л. Иванов.

**Текст воспроизведен по изданию: Из воспоминаний туркестанца // Исторический вестник, No 6. 1896
OCR - Трофимов С. 2007**

Table of Contents

Иванов Дмитрий Львович Из воспоминаний туркестанца	2
I.	4
II.	9
III.	12
IV.	15
V.	17
VI.	20
VII.	26
VIII.	30
IX.	33
X.	39